

Анатолий БУЗУЛУКСКИЙ

Анатолий Бузулукский родился в Самаре в 1962 году. Окончил филфак Ленинградского госпединститута им. А.И. Герцена. Служил в армии, учительствовал. Член Союза писателей России. Автор книг прозы «Время сержанта Николаева» (СПб, 1994), «Антипитевская проза» (СПб, 2008) и публикаций в журналах «Звезда», «Знамя», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Нева», «Новая юность» и др. С 2008 года – постоянный автор журнала «Волга». Лауреат премий им. Гоголя и журнала «Звезда» за лучшую прозу. Живет в Санкт-Петербурге.

ТРИ РАССКАЗА

Крокодил

Мельников уже забыл, как же он ответил директору – «кракодил» или «крокадил». Все-таки – «крокадил». «Кракодил» – это уже что-то совершенно несусветное. Директор вдруг спросил, как правильно пишется слово «крокодил»? Мельников, бывший филологом по первому образованию, вдруг странным образом на ровном месте оторопел. Но, зная, что директору-самодуру следует отвечать незамедлительно, ляпнул сходу, с респектабельной уверенностью: «Крокадил». Директор переспросил (он что-то с ухмылкой набирал в планшете, видимо, очередной твит). Мельников безапелляционно повторил по слогам: «Кро-ка-дил». Сидевшая рядом пиарщица Лиза удивленно и почему-то с испугом подняла глаза на Мельникова. Она не закашлялась, не поправила коллегу, промолчала и вновь потупила глаза. Даже когда директор, не отрываясь от планшета, вдруг произнес: «А Гугл сообщает, что крокодил», Лиза все равно не хохотнула, не улыбнулась – ни саркастично, ни снисходительно. «Да-да, конечно, – сконфузился Мельников. – В этот раз Гугл прав». Поговорили пару минут по делу, и директор закрыл совещание. Мельников осторожно поглядывал на директора, озираясь на Лизу. Лицо пиарщицы было по-прежнему доброжелательным и непроницаемым. Мельникову показалось, что никто не придавал значения тому, как глупо он опростоволосился. Директор иногда великодушничал, прощал позорные промахи подчиненных, любил, когда те давали маху. Пиарщица и сама, бывало, попадала с директором впросак. Хотя мельниковский «крокадил» выглядел уже настоящим анекдотом, странным и действительно смешным. Или, наоборот, совсем не смешным. Как бы там ни было, Мельников был благодарен Лизе прежде всего за ее испуг от «крокадила», – испуг невольный, но долгий, тревожный, словно сочувственный.

Зачем директору священный трепет от сотрудников? – недоумевал Мельников. – Неужели когда человеку неловко, тебе может быть хорошо? Судачили, что у директора – комплексы, что он из грязи вылез в князи, что сами мы его и избаловали. Что он не наигрался в школе, не нашутился, не намучил кошек. Что в итоге он получит отпор. Но это будет в итоге. Моральные ценности, о которых любил разглагольствовать директор, по всей видимости, не были для него пустым звуком, но, казалось, всякий раз нуждались в той или иной интерпретации.

Да Бог с ним, с директором! – думал Мельников. – Ты-то что так себя ведешь, ты-то что трусишь? Чего теряешь самообладание, чего садишься в калошу? Сажают, дескать. Нет, сам садишься. Как будто ты с ним заодно, как будто ты ему подыгрываешь. Как будто, подыгрывая, полагаешь, что обыгрываешь. Побеждаешь поражением. Не будь ты и левой щекой, будь лишь правой. И никакого отпора! Не потому, что директор его ждет как продолжения игры, а ты опять обмишулишься со своим отпором. А директор на это будет громко ржать баритоном. Ведь ни тебе, ни ему уже не нужна игра. Не такого он

ждет отпора. Не от мягкого человека, а как в детстве – от шпаны. Сейчас ты будешь твердить, что надо смотреть на небо, на деревья, на детей. Забыть, улыбнуться, посмеяться. А как же иначе? А никак...

Мельникову было весело: он никогда не думал, что именно крокодил сыграет с ним злую шутку. Да не сам крокодил, а слово. Да ладно бы аллигатор – это слово потруднее будет. Так нет же, проще пареной репы – крокодил. А ведь крокодилы у нас не водятся, только в литературе иногда, у Достоевского да Чуковского. Похоже, крокодил всегда лежит на дне озера, колодца, души. Главное – не представлять директора крокодилом. Хотя так и просится. Да и похож он на крокодила – со щербатыми щеками, в туфлях из крокодиловой кожи. Еще и поэтому ни в коем разе не воображать директора крокодилом. Кем угодно, но только не крокодилом. Агнцем тоже смешно представлять. Не станет он никогда агнцем, к сожалению. Не к лицу ему быть жертвой. Поневоле – не к лицу. А добровольно, случается, – очень даже облагораживает.

Мельников о конфузе не сказал ни жене, ни дочери. Лег спать с хохотком. Пришла мысль: надо бы объясниться с директором. Как чеховскому чиновнику – с генералом: мол, не нарочно чихнул на вашу досточтимую лысину, черт, мол, попутал с этим «крокадилом». Вся наша литература – самооговоры. Отмахнись, забудь, подумай о свободе, воле. И глядь, как раз умрешь.

Внук обнимает

Дмитрий Иванович стал тосковать по объятиям внука Архипа. Эти детские радушные ручки, полагал Дмитрий Иванович, последнее время придавали ему не только душевную, но и телесную устойчивость. Он шутил с дочкой Леной и зятем Сергеем, что ребенок у них растет целителем. Архип репликам взрослых внимал избирательно. Что-то его в особенности удивляло, и он с радостным недоумением восклицал: «Целителем?» «Да, Архипушка, ты настоящий психотерапевт», – говорил дед. Он ждал, что Архип обратит внимание на сложное слово «психотерапевт» и постарается его выговорить, осилить, но внук словно машинально вопрошал: «Настоящий?» «Да, маленький, – настоящий». – «Настоящий-пренастоящий?» – «Да, ты настоящий-пренастоящий». «Погляди, Лена, – увлекался дед, – он уже знает, что он психотерапевт. И поэтому его интересует лишь то, насколько он настоящий психотерапевт».

Дочка улыбалась по-матерински нежно, снисходительно и Архипу, и отцу, и старому, и малому. Зять Сергей думал, как стремительно, буквально на глазах тесть превращается в сентиментального пожилого мужчину. Не потому, что внуки старят, а потому, что утешают. Сергей видел, как неоправданно часто от растерянности стали намокать глаза у тестя. Сергей думал, что для таких людей, как его тесть, всякое их личное долгое несчастье куда менее обременительно их нечаянных удач. Сергей осознавал, что сейчас он, молодой мужчина-отец, понимает ход жизни куда точнее, нежели его тесть. Дмитрий Иванович смирился с тем, что штурвал корабля словно сам по себе очутился в других руках – его зятя и дочери, их поколения. Его теперь не столько увлекал современный человек, сколько вообще человек (а значит – именно маленький человек). И ему наконец стало нравится, что этого маленького человека, внука, назвали старинным, но уже не архаичным, новомодным именем. Зять Сергея не удивляло, что Дмитрий Иванович стал нуждаться в объятиях внука. Но для Сергея и для Лены было загадкой, как их шестилетний Архип почувствовал, что деду теперь действительно необходимы его детские обнимашки. Деду, у которого освободились руки.

Однажды внук первым обнял присевшего к нему для прощания деда за голову. А затем при следующих встречах и расставаниях стал прижимать к себе и за плечи. Дмитрий Иванович всякий раз любовался этим решительным порывом ребенка, которому будто

еще не хватало ручек, чтобы крепко заключить родную душу в объятия, сцепить пальцы на дедушкиной спине.

Период, когда Архип обнимал деда непроизвольно, нечаянно, может быть, даже инстинктивно, закончился. Это начало беспокоить Дмитрия Ивановича. Переступая через порог дочкиного дома, Дмитрий Иванович теперь торопился первым делом наклониться к Архипу и произнести: «Давай обнимемся, Архип! Как ты хорошо обнимаешься – крепко, сердечно!» Архип тесно прижимался к бабушке и успевал спрашивать: «Крепко?» – «Да, очень крепко». – «Очень-очень?» – «Да, маленький, очень-очень». Дмитрий Иванович удивлялся выбору слов малышом для повторного проговаривания. «Почему не *сердечно*, почему *крепко* выбрал Архип?» – задумывался дед.

Дмитрий Иванович не решался поинтересоваться у дочери, обнимает ли так же Архип другого своего дедушку и двух бабушек. Дочка лишь уточнила, что так обниматься Архип научился на детской площадке – от своих друзей и подружек. «Так они радуются новой встрече – копируя мам и пап, и все-таки как-то по-своему, с какой-то трогательной, мешкотной секретностью», – уточняла Лена. Дмитрию Ивановичу казалось (в пользу этого свидетельствовал и по-особому мягкий взгляд зятя), что других взрослых Архип объятиями не баловал. Архип уже знал, что есть бабушка с дедушкой от папы и есть бабушка и дедушка от мамы. Причем от папы бабушка с дедушкой навещают его совместно, парой, а от мамы – всегда порознь: отдельно приезжает бабушка Таня, сам по себе – дедушка Дима.

Бывало, когда дед подолгу всматривался в Архипа (пока тот ловко оперировал детальками Лего), внук поворачивал голову к деду и тоже неотрывно глядел на него – с ласковым одобрением. Проницательная дочка поясняла: «Когда я за ним наблюдаю, он обязательно спросит, чего это я на него смотрю. А с тобой молчит». «Он деликатный мальчик», – смущался не внук, а дед. Дмитрию Ивановичу нравилась ранняя мудрость молчаливого зятя, который исключал любую ревность по отношению к родственникам, как к своим, так и жены.

Дмитрий Иванович подозревал, что внуку наскучило церемониально обниматься с дедом, быть может, впервые, по-детски напоказ ребенку становилось психологически неловко. Вдруг у малыша возникало желание покапризничать – из-за того, что этих объятий от него ждут не только дедушка, но и папа с мамой. Неловко могло быть особенно перед папой. Когда пили чай с пирожными, Архип ни с того ни с сего заявил, что хочет спать. Мама сказала: «Да, Архипчик, ты, наверное, утомился сегодня, иди в свою комнату». Архип пожегся, потер глазки кулачками, пару раз зевнул, притих на несколько минут и обронил: «Нет, я хочу быть здесь, с вами». Дмитрию Ивановичу мнилось, что мальчик хотел произнести не «с вами», а «с дедушкой».

«Эти минуты, когда Архипушка молчал, он думал. Он решал, уйти ли к себе в комнату, чтобы не прощаться со мной по заведенному порядку, или не уходить. Внук сделал выбор – остаться, – размышлял Дмитрий Иванович. – Однако важно, чтобы внук не тяготился мной». «Мы с тобой, Архипушка, сегодня не будем обниматься. Мы с тобой сегодня по-другому попрощаемся – пожмем друг другу руки по-мужски», – неожиданно предложил Дмитрий Иванович. «Руки? – переспросил внук. – Не хочу руки. Хочу тебя обнимать, дедушка». – «Спасибо тебе, маленький».

Дмитрий Иванович догадывался, что Архип его жалеет из-за бабушки Тани, из-за того, что они с бабушкой приходят к нему по отдельности. «А бабушку Таню, – сообщила дочка Лена, – он целует в обе щеки». Архип был увлечен сборкой Лего. Только папиным пальцам он позволял помогать ему скреплять элемент с элементом. Папа Сережа делал это незаметно для сына, но всегда верно – модель приобретала проектные очертания и вскоре оказывалась завершенной, целой.

«Все равно когда-нибудь это случится – Архип не обнимет меня. Я не знаю, – думал Дмитрий Иванович, – что тогда будет со мной. И что будет с дочерью, зятем? Что, наконец, будет с Архипом?»

Дмитрий Иванович не раз замечал, как на него смотрел совершенно взрослым взглядом какой-нибудь сущий младенец. Смотрел пытливо, сочувственно, даже сурово. По законам природы не мог так смотреть, но смотрел именно так – со знанием дела и будто провидчески. Слава Богу, всё становится на свои места в этом мире – дитя заплачет, заревет. И тогда уже опять не ему тебя будет нестерпимо жалко, а тебе – его, кроху.

Фотографии

Клубкову казалось, что коллеги по кафедре сегодня знают то, что ему не известно. Видимо, как новичку в коллективе. Новичку со стажем, вечному новичку. Наконец, сидевшая рядом с ним, как всегда, трогательно затаенная, пожилая доцентша Артюхова произнесла себе под нос: «У Натальи Павловны умер сын от онкологии. Единственный ребенок». «Господи, а сколько ему было?» – спросил потрясенный Клубков. «Тридцать пять. Головной мозг. Два года по больницам. Спортсменом был, гандболистом. Мячом в голову попадали».

Завкафедрой, догадавшись, о чем подчиненные так сокрушенно обмениваются репликами, продолжила говорить по повестке дня флегматично, но торопливо. Она не понимала, почему все педагоги еще накануне были проинформированы о горе Натальи Павловны, а Клубков опять остался в неведении. Она думала, что виноват в этом совсем не Клубков, не его капризная отрешенность, а старожилы кафедры, привыкшие к герметичности своего устоявшегося мирка.

«А я-то недоумеваю, почему Наталья Павловна отсутствует», – шептал Клубков. «Да», – привычно вздохнула Артюхова. «Я видел ее в начале недели – спокойной, ироничной. Устало ироничной. Она даже цветы не взяла домой, что ей студенты преподнесли». – «Да, собиралась съездить к внуку. Он в Испании живет с матерью и отчимом». – «Вот как!» – неслышно, но эмоциональноотреагировал Клубков. Завкафедрой вновь перевела на него взгляд – досадливый, но невзыскательный. Вдруг она сказала, словно поверх темы дискуссии, что ход жизни важнее наших перипетий и планов, поэтому будущие проекты обсудим позднее, после отпуска, осенью.

Дома Клубков зашел в ВКонтакте на страничку Натальи Павловны. Обратил внимание, что онлайн она была три дня назад. В «друзьях» Натальи Павловны Клубков отыскал ее сына – Алексея. Тот посещал свой аккаунт тоже три дня назад – с мобильного устройства. Либо кто-то вместо него. Клубков обнаружил и бывшую жену Алексея – Лену. У нее была новая, испанская фамилия. И, кажется, прежняя, неизменная улыбка. ВКонтакте был скуп на информацию о муже Натальи Павловны, отце Алексея. Клубков догадался, что на одной из фотографий Алексей был запечатлен именно с отцом. Трудно было усомниться в кровном родстве двух одинаково рослых, одинаково плечистых мужчин (молодого и старого), с одним и тем же, снисходительным спокойствием на пропорциональных лицах. У обоих прямые мальчишеские волосы разделялись похожим пробором. Все говорило о том, что Наталья Павловна с мужем находилась в разводе, но из собственной жизни его не вычеркивала. Самая поздняя фотография в материнском альбоме была двухгодичной давности. Да и Лена не часто обновляла свои счастливые снимки. В отличие от Алексея, ее испанский муж был ниже ее ростом, черняв, плотен. Застенчив – от любви друзей, родни и жены. В ВКонтакте фотографии внука Натальи Павловны отсылали лишь к его младенческой поре. Хотя ему, судя по всему, уже стукнуло десять. У внука были большие бабушкины глаза. Раз три Наталья Павловна подписывала фотографии с голеньким крепышом: «Будем заниматься спортом». Под одной из фотографий стояла подпись – «Любимая невестка». На фотографии улыбающееся Ленино лицо находилось рядом с молочной головкой ее удивленного мальчика в огромной папиной ладони. Больше фотографий с внуком у Натальи Павловны не было. Были лишь его детские рисунки – с ломкими кораблями на гладком море.

Клубков вглядывался в фотографии Лены. Он хотел этим длительным любованием избавиться от ощущения, что Лена предала Алексея. Клубков намеревался отмахнуться от предубеждений мужской солидарности. Не должно быть никакой солидарности, – твердил он себе, – ни мужской, ни женской. Нет, пусть женская останется, но мужчин их гендерная солидарность не красит. Мужчина, в отличие от женщины, должен оставаться один на один со своей отринутостью. Клубков вспомнил толстовскую «Крейцерову сонату». «Как нехорошо сводить все к “Крейцеровой сонате”, будь она неладна! Как она любит высказывать, как черт из табакерки! Как нехорошо раздражение от подозрений в измене! Но как нестерпимо фальшиво самообладание при открывшейся измене!»

Лена, думал Клубков, была из тех жизнерадостных красавиц, мимо которых трудно пройти без волнения. У нее были высокие скулы и высокая грудь, высокая шея и, вероятно, низкий, грудной голос. У нее был, безусловно, залиvistый, плачущий смех – пьяной от счастья женщины. Клубков думал, что Лена не умела сомневаться в собственном счастье сызмальства. Казалось, не было ничего, что могло бы ей помешать быть без устали счастливой. Счастливой по-женски. Словно она была призвана наслаждаться счастьем вне зависимости от конкретного мужчины. И если уходил один, ей важно было оставаться счастливой с другим. Клубков хотел отрешиться от этих мыслей, потому что их язык напоминал толстовский – неудержимо нравственный, разоблачительный, психологический. Клубков стал смотреть фотографии своей бывшей жены. Она никогда не смеялась так свободно и счастливо, как жена Алексея. Жена Клубкова улыбалась тихо. Можно было бы сказать – с укоризной, если бы ее глаза не были столь насмешливыми. Да, губы – с досадой, а взгляд – веселый. Лена, полагал Клубков, уходила сразу, а его жена – долго. Он радовался, что его мать не застала их развода, что она не разочаровалась ни в нем, ни в своей любимой невестке. Клубков порой допускал неслучившееся фантастическое продолжение событий: была бы жива мать, быть может, ничто не угрожало бы их браку, были бы они при ней другими, куда более семейными, чем в итоге стали. Между тем союз Лены с Алексеем его мать, Наталья Павловна, при любом раскладе спасти бы не смогла. Алексей хоть как-то был похож на него, но Лена разительно отличалась от его жены. Клубков знал, Алексей был лучше него. Но даже от лучшего мужчины Лена ушла. Клубков задавался вопросом: когда она его разлюбила? И зачем? Ну не потому же, чтобы предпочесть русскому мужчине испанца? К черту эту «Крейцерову сонату»! Нет, я понимаю, почему меня разлюбила моя жена. Но я хочу понять, почему его разлюбила Лена. Не из-за болезни же? Это болезнь у него – из-за расставания с любимой. Тогда из-за чего? Зачем? Хочется несуразно воскликнуть: «С какой целью?» Чего-то здесь нет, на этих фотографиях. Что-то осталось на других снимках, которые здесь отсутствуют. Что-то вообще – вне фотографий.

Клубкову казалось, что Лена и Наталья Павловна были близки друг другу своими женскими натурами – припрятанным от чужих глаз темпераментом, воззрениями на мужской пол, порывистыми линиями судьбы. Наталья Павловна, быть может, с первого взгляда на невестку сообразила, что та рано или поздно бросит его сына. Наталья Павловна простила Ленино предательство еще до того, как оно произошло. Наталья Павловна знала, что невестка будет мучиться смертью Алексея втайне от всех. Втайне от собственного сына. Она будет продолжать общаться с Натальей Павловной, порой говорить с ней о Леше с мужественностью поневоле разлюбившей женщины. Она будет знать, что Наталья Павловна ни в чем ее не винит. Будет знать, что винит ее не бывшая свекровь, а сын – за своего отца. Пока он маленький, он будет винить ее своим детским недоумением, словно первым ропотом на мир. Когда же станет взрослым, зрелым, а она старой, он будет винить ее сыновьим покровительственным сочувствием. Но даже такого сочувствия ей будет хватать.

Клубков рассматривал фотографии Алексея и понимал: сильных мужчин если что и ломает, то только предательство. Но особое предательство – машинальное, безотчетное, беззлое.

Клубкову казалось, что Алексей всегда был степенным. Некоторые мужчины такими рождаются. В юности они бывают насмешливо основательными, в старости – осанисто недоверчивыми. Такие вприпрыжку не передвигаются, даже когда играют в гандбол. Неизвестно, что их делает степенными прежде всего – ответственность за женщину, отцовство или их некий проклятый крест. Такой степенный человек вдруг может спросить романтично: «А что такое красота?» Не – как сложить печку или перекинуть мост через реку, а – что такое красота?

Вот я не степенный, думал Клубков, я суетливый. Меня ничто по-настоящему не берет, мне словно все нипочем. И не надо мне превращаться в степенного. Я и угасать буду лихорадочно, с натужными анекдотцами.